

## ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

### ОТ РЕДАКЦИИ

В январе 2000 г. исполнилось десять лет со дня смерти Николая Никаноровича Разумовича. Доктор юридических наук, профессор Н.Н.Разумович был известным юристом и политологом. Автор семи монографий и множества статей, талантливый преподаватель, прекрасный оратор, Н.Н.Разумович тринадцать с половиной лет работал в ИНИОН РАН. С 1976 г. по 1988 г. в должности заведующего Отделом государства и права, а последние полтора года главным научным сотрудником. Посвященный его памяти очерк воспоминаний принадлежит перу ученика и младшего друга Николая Никаноровича.

### Ю.С.ПИВОВАРОВ\*

#### Памяти учителя (к 10-летию со дня кончины Н.Н.Разумовича)

Взяться за перо и написать несколько страниц о Николае Никаноровиче Разумовиче заставили меня некие внешние обстоятельства. Было дружеское давление, апелляция к моральному долгу по отношению к памяти покойного учителя... и пр. Что же касается меня самого, то я всегда думал, что напишу о нем, подводя итоги собственной жизни. Поскольку социопсихологически ощущаю себя его наследником (надеюсь, сын Коля, Разумович-младший, не обидится).

Каким человеком был Н.Н.? В чем значение, смысл и задача его жизни? Почему сегодня мы вспоминаем его?

Прямо, четко и односложно ответить на эти вопросы нельзя. Можно лишь одно: сказать, кем он не был. Великим (даже крупным) ученым, защитником униженных и оскорбленных, борцом против очевидного (и для него тоже) зла — советского коммунизма, непререкаемым моральным авторитетом (даже в кругу близких ему людей)... и т.д. и т.п.

Всем этим, и многим другим, он не был. Он **был** русской историей XX столетия, ее **полным** олицетворением.

Сын священника, после ареста отца, вместе с матерью и полоумной сестрой, десятилетний мальчик оказывается в лагере на Севере Казахстана.

...“Сестра первой почувствовала, что мать умерла. Мы спали втроем, в обнимку, съжившись от холода. Вдруг среди ночи я услышал Любин голос: “Коля, мама холодная, она, наверное, умерла”. — После смерти матери было решено, что я должен бежать. Весь лагерь на меня работал”...

Далее побег. В ватных штанах — они ему не по росту, он чуть ли не весь в них утопает — защиты деньги. С беспризорной шпаной пробирается в Москву. По дороге, узнав о деньгах, его хотят убить. Но ему как-то удается оторваться от шпаны и оказаться в Москве. Здесь тетка, Любовь Ивановна Петунникова, вдова гвардейского офицера, вышедшая вновь замуж за художника Могилевского, и ее дочь Лика, Лидия Владимировна. Она старше Н.Н. на одиннадцать лет. — После войны, в 46-м, гвардии капитан, победитель, проживший год в Венгрии, Австрии, Румынии, Югославии, двадцатичетырехлетний худой очкарик и неврастеник, женится на ней и проживет в этом браке до конца 60-х. Воспитает ее сына от второго мужа. А до второго был первый. И тогда, после побега одиннадцатилетнего Коли из лагеря, Лика крадет у него деньги, чтобы спасти (выкупить у чекистов) этого самого, первого.

---

\* Пивоваров Юрий Сергеевич — директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, член-корреспондент РАН.

Все это я узнавал в 70-е, сидя с ним то за кофе, то за водкой в Трубниковском, куда он приезжал навестить уже старую Лику, вольготно поболтать (и выпить) с друзьями, приезжал на несколько часов, а затем отправлялся к вечеру в свой новый дом, к молодой жене (Людмиле) и маленькому сыну. Захмелев, хрипло кричал мне:

...“Мальчик, видевший страшную смерть матери, потерявший в четырнадцать лет отца, бежавший в одиннадцать лет из лагеря, для того, чтобы состояться, имеет лишь два пути: либо война, либо пророка. У него может быть семья и дом при одном условии: если его избранница будет одновременно женой, матерью и сестрой”.

Или вдруг, ни с того ни с сего, с остервенением:

...“Нет, не погибло дворянство. Может быть социально, сословно. Но дух его живет. Во мне живет. В тебе, в других. И не погибнет он, потому как все лучшее русское в нем отразилось”...

И еще выпив, возбужденно, с ненавистью даже (такой, какая бывает только у родных и к родным), распаленный картинами Ильи Глазунова (интерес и симпатию к этому художнику у Н.Н. я никогда не мог понять; ведь он дружил с **настоящими** мастерами — в его доме я встречал Зверева, Немухина, других):

...“Перестань отсиживаться. Только два князя - старый и малый. Перед ними огонь, и они туда скачут. Двое. В этом преемственность, традиция, культура, монархия, наконец. А иначе какой ты русский, какой монархист!”...

Налив глаза кровью, кулаком по письменному столу (старому, еще из дореволюционной жизни), расплескивая остывший, без сахара, кофе и водку (пили почему-то и то, и другое из алюминиевых кружек по очереди — он глоток, я глоток...):

... “Если бы Иван Карамазов убил Смердякова, то Октябрьской революции не было бы!”

\* \* \*

...Когда я читаю: “в московские особняки врывается весна нахрапом”, думаю только об одном особняке. Том. В Трубниковском... Арбат, старые родительские связи в профессорско-художническо-дворянской Москве. Н.Н. органически, генетически чувствовал связь с дворянством. Недаром Версильев со своим: “Je suis gentilhomme avant tout et je mourrai gentilhomme!” был его любимым героем. — Здесь было спасение, brave new world до конца не сумел перемолоть **этот** мир, **этот** уклад. “Недобитые” дворяне держали круговую оборону, помогали друг другу. И Н.Н. тоже оказался под их защитой (в этом смысле “Утомленные солнцем” далеко не полная правда о русском дворянстве после революции: не все разложились, не все предали...).

В середине 30-х здесь покажется отец, чтобы затем навсегда сгинуть в неизвестности ГУЛАГа (незадолго до смерти Н.Н. узнает, что он был расстрелян). Никанор Иванович был из обедневших дворян Западного края; в нем текли какие-то белорусско-литовские крови; вроде бы (по словам Н.Н.) Разумовичи происходили от внебрачной ветви графов Разумовских. — Мать, Надежда Ивановна, из ославянившегося молдавского боярского рода — Маня. Я видел фотографию Никанора Ивановича: худое, истовое, очень исторически узнаваемое лицо священника конца XIX — начала XX в. Может быть, таким в молодости был о.Иоанн Кронштадский... Для меня он так и остался загадкой. Человек социалистически-демократических убеждений, активно работавший до революции в кооперативном движении, пытавшийся избраться в Государственную думу — типичный во всем этом интеллигент. И одновременно: священник на приходе — то сельском, то в уездном городе; участник Первой мировой — поднимал солдат в атаку во время Брусилковского прорыва. Кажется, был не очень тверд в соблюдении некоторых обязательных для представителей этого сословия правил... Хороший знакомец, еще с

киевских времен, Михаила Булгакова, близок к актерской среде Художественного театра — но это шло еще от дружбы с отцом Василия Ивановича Качалова, священником Шверубовичем. Сознательно отказался от эмиграции, полагая долгом быть здесь, “со своим народом”. — Этим родительским выбором Н.Н. очень гордился. И когда я пел ему русскую эмиграцию, восторгался книгами Бердяева, о.Сергия Булгакова, Франка, он почему-то мечтательно и назидательно говорил мне:

...“Во сто крат важнее для России было оставаться здесь. Как Никанор Иванович это сделал. ... Было это в 1931 году, в разгар коллективизации. Пасха в этот год была ранняя. И хоть жили мы на Северном Кавказе, месте теплом, ходили, помню, еще по-зимнему. Папа служил в прекрасной церкви в богатом селе. У них там есть такой обычай, полуязыческий: после пасхальной службы, выйдя из церкви, пускать голубей и бить их - из обрезов, винтовок, у кого что есть. А тут пригнали полк красноармейцев с пушками, раскулачивать ставропольских казачков. Подвели солдат рано утром к церкви. Стоят. Штыки только в полутьме блестят. Выходят и казаки из церкви. И тоже встали, смотрят что будет. Поняли они, зачем здесь солдаты. Еще бы несколько минут и началась кровавая драка. Ведь и те, и другие вооружены. А у казаков еще в домах пулеметы припрятаны. Храм же в самом селе был, бежать до хат недалеко. Тут папа взял меня за руку и встал посередине между солдатами и казаками. Высокий, красивый, в праздничном облачении. И громко: “Стреляйте сначала в меня, а потом в сына, он уже взрослый”. В тот раз стрелять не стали. Потом, конечно, все это было. Стреляли, жгли... Но тогда молча, в изумлении и солдаты, и казаки, минут пятнадцать постояв, отошли друг от друга. — Вот так! А ты говоришь “эмиграция”. Здесь люди своим примером, своею жизнью христианству больше и лучше учили, чем Бердяев с Сергием Булгаковым из-за границы”...

Или тоже с особой гордостью о разговоре Никанора Ивановича с пришедшим к ним в дом комиссаром:

...“Комиссар: “Наша идея настолько велика, что брат пошел на брата”.

о.Никанор: “Вот потому-то она и лжива, ваша идея, что брат пошел на брата”.

К.: “Если враг не сдастся, мы будем бить его до конца и беспощадно”.

о.Н.: “А если сдастся?”

К.: “Кто не с нами, тот против нас”.

о.Н.: “Ну, а это уже совсем блатной принцип”...

Последний раз Н.Н. видел отца в Бутырской тюрьме:

...“Это было в конце 35-го. Нет, вру, в начале 36-го. Нам с теткой прислали повестку: идти в Бутырки прощаться с папой. Приехали мы туда. Длинный зал, заключенные за решеткой. Стоит страшный, истерический крик. Многоголосый. Мы смутились и не знали, где папу искать. Вдруг весь этот вой покрыл его голос: “Братья! Пришел последний час свидания с родными. Мы должны остаться в их памяти не истерическими трусами, а достойно и смиренно идущими по уготовленному нам пути. Это есть наш христианский долг, наш долг перед родными!” И все смолкло. Лишь иногда кто-то вскрикивал, но быстро замолкал, как от стыда. Все успокоились”...

От отца, несомненно, передалось ему это аввакумовское начало. Это то, что пронеслось, проглядывало в его облике нечасто. Но составляло какую-то очень

значительную стихию души, психического строя, темперамента. Н.Н. относился к тому типу русского человека, которого природа и культура “запечатлели” в Качалове, Набокове, Лихачеве, Ростроповиче. Во всех этих лицах есть нечто общее; и это общее крайне важное для этих лиц, если не определяющее. Может быть, как раз аввакумовское...

\* \* \*

Он был полным олицетворением русского XX в.... А значит, войны. В Ярославле, в самом конце декабря 79-го, ночью, в мороз, разбитые известием о вступлении советских войск в Афганистан, мы искали с ним здание, в котором зимой 41-42-го он учился в Новоград-Волынском (эвакуированном сюда от немцев) пехотном училище. Выйдя из него лейтенантом, сразу же оказался на передовой... Н.Н. упивался своими рассказами о фронте, был и спустя тридцать-сорок лет как-то свежо переполнен всеми этими героическими, комическими, трагическими и пр. историями. Что было правдой, что заимствовано у других, выдуманно, приукрашено, этого теперь, конечно, не узнать. Да и не надо.

Достаточно того, что осталось. Осталось же — при всех, вероятно, его фантазиях и сентиментах — чувство, ощущение чего-то огромного, грозного, неотвратимого, очень по-русски жуткого и безобразного, бесформенно-кровавого. И одновременно праведного; в смысле “наше дело правое”. “Для меня, воспитанного на немецкой культуре, убить немца было трагедией”, — говорил он. Но — научился. Хотя не это, по его словам, было главным. Вот чтобы в спину, в затылок не выстрелили во время атаки — в этом было искусство жизни и выживания на войне офицера советской пехоты.

Часто вспоминал с любовью, гордостью, жалостью своего ординарца Юрку (так он его называл) Соколовского, красавца, полутаджика-полурусского. Этакого Планше и д’Артаньяна в одном лице. Человека трагической, действительно, судьбы. Он не вытянул (термин Н.Н.) послевоенной жизни. Спился. Сломался психический порядок. — На фронте же был прославлен лихостью, отвагой и невероятной жестокостью (хладнокровно резал немцам горло...). — А вот год в заграничном походе и оккупационной администрации дал Н.Н. многое. Если коротко, то: живое прикосновение к Европе. Быт, люди, архитектура — хоть и война, хоть и не полновесный Запад, однако пахло культурой и цивилизацией, нормальностью и традицией. К тому же еще Магда, этническая немка из Румынии, европейская женщина из бюргерской среды. Любя многих других, он любил ее всю жизнь. Здесь были романтический порыв, легенда, молодость... Еще и какая-то венгерская графиня, которую он спас от изнасилования; и как-то все это было связано с нашим отступлением под Балатоном. Не знаю, слишком уж красиво...

Находясь в Европе, он сделал одно очень важное открытие, важное и даже в чем-то определяющее для всей его последующей жизни. Или, если точнее, ему это “открыли”. — Отец Магды, пожилой немец, которому удалось уклониться, спрятаться от репрессий, обрушившихся тогда на его единоплеменников в Румынии, крайне заинтересованный в том, чтобы Н.Н., русский офицер, и дальше у него квартировал — род охранной грамоты, как-то подвел своего “гостя” к окну и сказал: “Господин капитан, посмотрите”. В это время по улице проходила колонна советских солдат, в основном это были уроженцы Средней Азии — невысокие, с кривыми ногами. “Вы, господин капитан, говорите, что вы — тоже европейцы и освобождаете Европу от варварства. Нет, это скорее, при всем моем негативном, Вы это знаете, отношении к нацистам, новое завоевание Европы азиатскими варварами. Нет, нет, господин капитан, к Вам лично это не относится. Вы, безусловно, европеец, представитель просвещенной России. Но вас так, к сожалению, среди русских мало”.

Тема русского варварства была болезненной для Н.Н. И хотя как у всякого образованного русского, у него можно было найти черты и западника, и славянофила, и почвенника, и космополита, неевропейскость России не давала ему жить. Он постоянно возвращался к своему любимому Версилову, к этому знаменитому версиловскому mot: русский только тогда русский, когда он европеец. И возвращался к этому эпизоду с отцом Магды...

Много и подробно вспоминал возвращение из армии. Как избили и ограбили свои же в поезде. Он вез хорошую одежду в нищую Москву... Как долго еще спал с пистолетом под подушкой...

Послевоенного Н.Н. мне представить легко. И потому, что знал его самого (люди меняются, но не вовсе), и потому, что люблю, чувствую, знаю это время. Оно — **мое**. Хотя пожить в нем удалось недолго. Я родился спустя пять лет после войны и через столько же примерно оно окончилось, перетекло в XX съезд, космос, фестиваль, стилинг, Вана Клиберна... А вот то, послевоенное... Страшное и безысходное, упоительное и сладостное в своей истоме; приближающееся обновление и полная безнадежность. “Осевое время” XX столетия. В воздухе, запахе тех лет смешались все эпохи века; еще жива была и Москва дворянская, и купечески-мещанская, и революционная, и довоенная, и эта, с пленными немцами на стройках, которые на несколько десятилетий определяют ее облик, и эта, что в нас, в первом послевоенном поколении, в котором все ее будущее: хрущевско-пионерское, брежневско-комсомольское, горбачевско-ельцинское, равное по размаху нашествию монголов, церковному расколу, преобразованиям Петра “в одном флаконе”...

В то, послевоенное, мне легко его поместить. Через двадцать (примерно) лет после Н.Н. и я приду в здание, в котором помещался тогда МГИМО. Впрочем, не помещался — навсегда там остался (пусть однокурсник и ровесник Толя Торкунов не обижается) ... Н.Н. закончил институт за четыре года, спешил наверстать упущенное на войне. Студентом на летние каникулы уезжал в Сибирь подработать в геологических партиях. Сохранились фотографии: Н.Н., как всегда, очень худой, в круглых очках, с копной волос (мы-то знали его уже плешивым, порой дружески-грубо за глаза называли “лысым”), в лыжной почему-то курточке (в детстве у меня тоже такая была). На этих снимках он уже не роскошный гвардеец-победитель, а так себе, студентик-сморчок... Конечно, бедствовал. Кормил-поил Лику и ее сына Алика Курца (от второго мужа, который тогда обретался в Ленинграде и знать не знал забот о своем чаде). Н.Н. любил Курца-младшего (доктор химических наук, профессор МГУ), потом любил дочь Алика — Катю. Всем им помогал, обо всех думал...

После МГИМО получил распределение в “Красную Звезду”, тогда это считалось неплохо. Но был арестован кто-то из старших (довольно далеких) родственников, и Н.Н. остался безработным (через четверть века и я окажусь — по другой, но тоже политической, причине — в этой шкуре, и он, плюя на всякие там ЧКГБ, возьмет меня работать в свой отдел в ИНИОНе). В начале 50-х служит в издательстве Академии наук. Однажды видел там Анну Ахматову, и стоявший с ним рядом старый известный редактор сказал ему: “Смотрите, идет Екатерина Великая”. — В 54-м вступает в партию и защищает диссертацию, посвященную политико-правовым воззрениям Писарева (к которому сохранил — для меня непонятную — склонность до конца своих дней; и это-то при том, что любил, знал, чувствовал Владимира Соловьева, при том, что Сократ, Платон, Аристотель, Августин, Кант были “категориями” его внутреннего мира!). Эти революционные демократы тогда считались хорошей темой. Бурлацкий, скажем, защитится по Добролюбову.

Вступает в партию... Утверждал, что решился на это, когда понял: наступила “оттепель” (как это вскоре назовут). Думаю, все было наоборот: именно “оттепель” и открыла ему дорогу в КПСС. До нее шансов вступить было мало. Он всегда злился, обсуждая со мной эту тему. Пытался доказывать, что это не предательство памяти отца, своего дворянства, своего антикоммунизма. Вообще не предательство. А напротив — единственно достойный путь для русского дворянина, офицера и ученого середины XX века. Иной путь обозначал словом “отсиживаться”. То есть не участвовать в общем деле, не стремиться хоть как-то это общее дело подправить. — Мой отказ воспринимал и как личное оскорбление. Вот, мол, он за меня горой, прикрывает, покровительствует, дружит, а я... Кричал мне: “Хочешь, чтобы все в говне, а ты — в белых перчатках?! Не получится! И не смотри на меня лживыми глазами”. — Впрочем, как только понял, что и беспартийному можно, тут же, в 88-м, определил меня в заведующие отделом. И как-то перестал агитировать за вступление...

Что здесь сказать? — Он был русской историей XX в. А она состояла в КПСС. Хотя этим не исчерпывается, но и Н.Н. этим не исчерпывается тоже.

\* \* \*

С 54-го по 66-й он в Институте государства и права. Лика говорила мне, что это были лучшие для Н.Н. годы. Наверное. Это ведь и биологически лучшее время человека. Между тридцатью двумя и сорока четырьмя годами. Написал несколько книг, переведил латиноамериканские конституции. Защитил в 67-м докторскую по политическим системам

стран Латинской Америки. Гордился этой работой, как одной из первых у нас политологических. Пошел, после докторской, в Московский авиационный институт получать профессорство по открывшейся дисциплине “научный коммунизм”. Там, в МАИ, и нашел себе молодую жену. Она слушала его лекции; он яростно влюбился... В январе 72-го к своему пятидесятилетию получил самый большой подарок в своей жизни: Людмила родила мальчика, Колю...

Но перед этим ушел из ИГПАНа, который, кстати, всегда любил. Там, в основном, завязались его научные дружбы, знакомства. Там был и Николай Николаевич Семенов, сыгравший в судьбе Н.Н. какую-то особую роль, видимо, в чем-то схожую с ролью, позднее сыгранной им самим в моей биографии... Ушел, потому что дальнейшие карьерные пути оказались в тот момент закрытыми. До 70-го заведовал Отделом в модном тогда ИМРД... А затем шесть лет служил заведующим кафедрой “Теории и истории государства и права” в МГИМО. Был чудным лектором. Свободным, раскованным, красивым. Подобно многим другим, я влюбленно смотрел и слушал его “Историю политических и правовых учений” (в целом вольный пересказ “Истории западной философии” Б.Рассела). Вел кружок для студентов. Мы по очереди делали доклады и обсуждали их. — Н.Н., развалившись в кресле, задрал ноги “по-американски”, куря “Кэмэл”, ошарашивал нас, двадцатилетних, своей мудростью, знаниями, иронией...

С годами я чувствую все большую и большую схожесть с ним. С годами я все больше понимаю его. Читая лекции, я смотрю на себя со стороны и спрашиваю: “Это ты или Разумович? Ты сидишь среди студентов и сегодня зима 71-го, а не 99-го?” Когда внушительно нравочаю своих аспирантов, мне вдруг начинает казаться, что это он говорит, а я лишь рядом, незримо слушаю его (пишу, все время борюсь с пафосом; впадать в него стыдно и малопродуктивно; в этой патоке утопишь человека, вместо того, чтобы — хоть на время, хоть для близких и друзей — воскресить, вызволить из небытия; но пафос неизбежен, за ним удобно скрыть слезы...).

Он многому меня научил.

\* \* \*

О почти четырнадцати годах совместной работы в ИНИОН, где он заведовал Отделом государства и права, и на которые падает время нашей с ним дружбы, вражды, любви, непонимания, заботы, общего труда, разговоров, поездок, пьянства и пр., я пока говорить не могу, не готов... Или, пожалуй, лишь одно: у нас были действительно сложные и напряженные отношения. При всей его молодости разница в двадцать восемь лет, естественно, сохранялась. И эта дистанция никогда не была преодолена. Неравные позиции предполагались. Но вот он умер, **его** время остановилось и расстояние между нами стремительно сокращается. С каждым годом он все ближе и ближе.

\* \* \*

Мне почему-то легче представить его в зимнем интерьере. Может быть, это связано с тем, что он родился и умер в январе. Или с тем, что зимой наше общение было интенсивнее. Летом он старался поменьше бывать в Москве.

Хотя, наверное, прежде всего от того, что в моем сознании, в моем воображении Н.Н. воплощает того, почти невидимого у Пастернака, человека, который сокрыт в его московских-подмосковных метелях, упрятан в идущий, тающий, лежащий снег, на котором раскачивается тень фонаря, ложится отблеск ночного окна, мелькает длиннополая фигура с поднятым воротником.

Н.Н. словно зашифрован в этом зимнем Пастернаке. “В воротах вьюга вяжет сеть / Из густо падающих хлопьев” — это Н.Н. возникает в воротах своего арбатского дома. “И я по лестнице бегу, / Как будто выхожу впервые / На эти улицы в снегу / И вымершие мостовые” — это Н.Н. в своем старом пальтишке с меховым старомодным воротником, забыв застегнуться, выбегает на Трубниковский, Поварскую, Молчановку. Это в его жизни, в зимний рассвет вновь появляется Тот, с Кем он был знаком с детства. — “Ты значил все в моей судьбе. / Потом пришла война, разруха, / И долго-долго о Тебе / Ни слуху не было, ни духу. / И через много-много лет / Твой голос вновь меня встревожил / Всю ночь читал я Твой завет / И как от обморока ожил”. Это он, заработавшись допоздна, вдруг встает и его тянет из дома: “Засыпет снег дороги, / Завалит скаты крыш. / Пойду размять я ноги: / За дверью ты стоишь”.

Вообще-то я убежден: ряд стихотворений из “Доктора” написан о нем. Не о нем, разумеется, биографически, но — субстанциально. Импрессионизм Пастернака (это не совсем то, что обычно описывается этим понятием, хотя и то тоже, поскольку этот, по словам Сталина, “нэбожитель” вобрал в себя и дух классического импрессионизма; это, как сказал бы профессор философии: преодоление, снятие субъект-объектного отношения, т.е. разделенности, разведенности “субъекта” и “объекта”; как сказал бы Бердяев: преодоление, снятие проблемы “объективации”; как сказал сам Борис Леонидович: “Жизнь ведь тоже только миг, / Только растворенье / Нас самих во всех других / Как бы им в даренье”) — это воздух, почва, быт, предрассудки и прочее, из чего был соткан Н.Н.

В особенности “Объяснение”. — “Жизнь вернулась так же беспричинно, / Как когда-то странно прервалась. / Я на той же улице старинной, / Как тогда, в тот летний день и час”. Музыка этого стиха, плывущая на аллитерационном “н”, — это и музыка жизни Н.Н. Это то, что его влекло к жизни и по жизни, что влекло к нему. Жизнь как музыка. Как музыка — беспричинна, беспредпосылочна, бесплотна. Но ее возвращение и уход — “предметны”, точно “локализованы” и внутренне связаны. Это — портрет Н.Н. — И далее: “Те же люди и заботы те же, / И пожар заката не остыл, / Как его тогда к стене Манежа / Вечер смерти наспех пригвоздил”. А это — смерть всего живаговского поколения, смерть, так сказать, незавершенная и открытая, и потому увиденная последующими поколениями, хотя и смерть “наспех”, внезапно и быстротечно. Из этой незавершенности и открытости вырастал и вырос Н.Н. Опаленный ею и бывший ее отрицанием. Отсюда — в лучшие его минуты — его губительное очарование, его несравнимое шармёрство, его восхитительная свобода. Но в худшие (нередкие) часы — безграничный ужас перед смертью; те кому **доступен** этот ужас, видимо, **обречены** на чувство: тебя неотвратимо засасывает воронка смерти. Воронка — это такая незавершенная и открытая конструкция...

“Женщины в дешевом затрапезе / Так же ночью топчут башмаки. / Их потом на кровельном железе / Так же распинают чердаки”. — Это безвкусица, доведенная до гениальности, возведенная в этот чрезвычайный и полномочный ранг. И одновременно: изящество, стильность, острота. Это тема “Н.Н. и женщины”. Надрывная, романсная, превращающая отталкивающе-низменное в поэзию. Тема поэзии, свергающейся в грязь. По отношению и в отношениях с женщинами он бывал и рыцарем, и папашей Карамазовым. Размах, диапазон были громадными. Фантазии по этому поводу чудовищными... “Вот одна походкою усталой / Медленно выходит на порог / И, поднявшись из полуподвала, / Переходит двор наискосок. / Я опять готовлю отговорки, / И опять все безразлично мне. / И соседка, обогнув задворки, / Оставляет нас наедине”.

А это просто зарисовка его жизни в Трубниковском. Там тоже был полуподвал и двор. И все эти бесконечные его любви (втихомолку от Лики, на ее глазах...). О большинстве я только слышал, некоторых в 70—80-е видел. Все они были красивы, умны, достойны... Именно на них он не женился.

\* \* \*

И еще. О литературности Н.Н. Он, несомненно, был неким совокупным персонажем Достоевского. — Федор Михайлович (всегда так называл) — его любимый писатель; к Толстому в целом был равнодушен, хотя постоянно “примерял” к себе князя Андрея. — Я знал его Версиловым, Федором Павловичем Карамазовым — здесь даже внешнее сходство: “античный профиль”, “римлянин времен упадка”. Он — непонятно для меня — восхищался Ставрогиным (“аристократ в революции”). Наверное, и им был тоже.

Вообще был большой придумщик, враль. В том смысле, в каком Цветаева сказала о Мандельштаме: “гордец и враль”. То есть в культурно-литературном смысле...

Я уже говорил, что Н.Н. навсегда для меня останется в пастернаковском контексте. Конечно, он — Юрий Андреевич Живаго. Вернее был слеплен из живаговского теста. Хотя сам Н.Н. к Пастернаку относился довольно спокойно. Любил-ценил, но не более. Не как я, например. И всегда безразлично-скептически слушал мои суперлативные завывания по его поводу... Иначе воспринимал Михаила Булгакова. Здесь, правда, и память об отце свою роль играла. Но главное в том, что подобно пастернаковскому, булгаковский мир был несомненно миром Н.Н. Алексей Турбин, Мастер, Воланд, профессор Преображенский — все это он, все это родная ему стихия, стиль, тональность.

Помню: много раз спорили и ругались из-за Турбина. Мой тезис сводился к тому, что Турбин хоть и очень симпатичен, но не должен был распускать юнкеров по домам. Их

же красные потом всех переловят и перебьют. Турбин, клокотал я, должен был вместе с этими юношами на Дон пробираться, к своим. И пользы больше было бы, и честнее. Н.Н. возражал мне твердо и невнятно. Пожалуй, сегодня мне его аргументы в защиту решения Турбина уже и не воспроизвести. Но за всем этим стояло какое-то очень личное, интимное, глубокое понимание турбинских мотивов. Мне недоступное...

Но вот, пожалуй, теперь я могу сказать о Н.Н. главное. Главное с точки зрения русской истории. И прежде всего русской истории XX в., явившейся во многом следствием и результатом Русской Литературы предшествовавшего столетия.

Он — русский Гамлет. Как Юрий Живаго, Григорий Мелехов, Алексей Турбин. Как — уже из поколения самого Н.Н. — Глеб Нержин. Это — новый русский тип. Он пришел на смену “лишнему человеку”. Весь XIX в. русская литература пыталась построить новую — альтернативную существовавшей — Вселенную. Не хватало образа, вокруг которого этот универсум должен был строиться.

В поисках этого образа и возник “лишний человек”. Причем в нескольких вариантах. Среди них были очень сильные претенденты, но по разным причинам конкурса не прошли (скажем, Обломову не хватало социально-исторического динамизма, а эпоха уже требовала это; Печорин оказался слишком аристократически-асоциальным и т.д.). Пожалуй, наиболее вероятным победителем мог стать образ русского Христа (эту задачу ставил Достоевский), но реальная, наличная история взорвала эту великую надежду великой (и “святой”, по словам Томаса Манна) русской литературы. Генетически связанный с нею образ русского революционера (связанный и по негативу, как отрицание, и как — на первый взгляд, неожиданно — продолжение, и как — что уж совсем трудно представить — продолжение, “запрограммированное” самим образом русского Христа) тоже провалился. Русская Революция, вырвавшаяся из чернильницы Русской Литературы, показала всю утопически-мифологическую природу этого “идеального типа”. Впрочем, и русский Христос был — по-своему — не менее измышленным и “придуманным”.

XX столетие во многом стало расплатой за эти “мечтания”, за эту безответственность. Но одновременно — как снятие и преодоление — породило тип, образ русского Гамлета. Образ не утопически-мифологизированный, а глубоко метафизический и действенный. Когда-то Герцен заметил, что Пушкин — это ответ России Петру. Можно сказать, что русский Гамлет — это ответ России Ленину. Ибо именно Ленин был выдвинут русской историей в наследники русской литературы. В этом отношении русский Гамлет не только шаг вперед по сравнению с русским Христом и русским революционером, но и преодоление Ленина, объявление его “самозванцем”, не имеющим законных прав на наследство...

\* \* \*

Его смерть как-то обошла меня стороной. Осенью 89-го я уезжал и приезжал, мало был в Москве. Не чувствовал, что с ним происходит. Да он и сам, думаю, понял не сразу. — Во Франкфурте-на-Майне, где я жил несколько месяцев, получил от него записку: “Юра, купи мне эфэргешного аспирина”. И последнюю его книгу — “Политическая и правовая культуры”, чтобы пристроил переводить на немецкий. Вернулся я в конце декабря. Он умирал в больнице Академии наук. Я пришел к нему (что Н.Н. обречен, узнал от Славы Золотарева, который позвонил мне 19 декабря в Германию и все рассказал; помню весь день ходил по городу и плакал). Кажется, он узнал меня. Улыбнулся, в глазах стояли слезы, затем отвернулся к стене и руками схватил мою руку...

Он умер через несколько дней, в сочельник. Потом, 9 января, были похороны, с гражданским прощанием в его квартире, с отпеванием в церкви. Уже можно было не бояться (январь 90-го!). И бросалось в глаза: многие крестятся, зажгли свечи.

И долгий путь в Тарусу. Вместе с сыном Колей, Женей Темновым и Сашей Самбуком я ехал в автобусе, поддерживая гроб, чтобы от тряски он не раскрылся, не соскочил с рельс. Мы пили водку, нервно, возбужденно вспоминали Н.Н.

Приехали, когда уже начинало темнеть. Слава Богу, день выдался не морозный. Помню: шли и шли, проваливались в рыхлый снег, старались ступить осторожнее, не уронить гроб; водка, выпитая по дороге, быстро выходила в теплый, липкий воздух...

А потом поминки в его и уже не в его доме. На правах какого-то там начальника, ученика и друга я говорил первым. Говорил отрывисто и скомканно. О том, что с Н.Н.



оторвался ото всех нас кусок жизни и больше никогда этой или уже той жизни не будет. В тот миг никто и сам я, конечно, не знали, **насколько** это так. А вышло, что **та** жизнь действительно закончилась.

Закончилась через полтора-два года. “Короткий” XX век, проклятый (для России) XX век, ушел. Н.Н. прожил его насквозь — от Коммунистической Революции до Антисоветской. Биографически он вобрал в себя это столетие полностью. И выполнил свою историческую задачу, миссию. Не умер ребенком, стал “русским мальчиком” (по Достоевскому), оборонил Родину, в 45-м — 46-м успел прикоснуться к европейской культуре, закончил элитарный (что бы там ни было) МГИМО, много писал, читал, преподавал, вокруг него образовались ученики, посмотрел мир, родил сына...

Он был — повторю — русским Гамлетом. Новым русским историческим типом. Люди этого склада не дали России погибнуть окончательно. Более того, они обрели новое знание и новый опыт, недоступные и неизвестные их предшественникам (скажем, поколению Блока). Из “лишних людей” русской истории они стали тем, что в науке называется “модальная личность”. То есть тем, в ком в полной мере выражен национальный характер, этос народа.

\* \* \*

...Кажется, я вчера впервые увидел его, идущим неподражаемой — элегантно и несколько комичной — походкой по коридору третьего этажа старого здания МГИМО, а это было почти тридцать лет назад, прошла целая жизнь, прошло десятилетие без него, прошла **та** Россия, олицетворением которой он был, состарились его ученики и сами уже подходят к роковой черте, но я по-прежнему вижу, как он идет, открывает левой рукой дверь своей кафедры, входит, садится к окну, закуривает, струя дыма смешивается со струей солнечного света, пробившегося через замерзшее окно. И говорит...